

Василий Брусянин

На чужом берегу



Василий Васильевич Брусянин

На чужом берегу

Серия «В стране озёр»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9803113

Аннотация

«Сегодня опять волнуется море...

Насколько можно рассмотреть – бегут, гонимые ветром, тёмно-зелёные, ворчливые волны с беловатыми гребнями и набегают на песчаную отмель, шурша гравием. Всплеснётся как лента длинная волна, изогнётся горбом и разольётся по отмели тонкой плёнкой воды, прилизывая влажный песок и всё дальше и дальше относя к берегу обломки камышей, какие-то щепки, куски пробкового дерева, обрывки гнилых верёвок. Налетит волна на камни, выступающие из воды, взовьётся каскадом белых брызг и пены и опадёт, разбитая, поверженная...»

Содержание

Василий Васильевич Брусянин На чужом берегу

Сегодня опять волнуется море...

Насколько можно рассмотреть – бегут, гонимые ветром, тёмно-зелёные, ворчливые волны с беловатыми гребнями и набегают на песчаную отмель, шурша гравием. Всплеснётся как лента длинная волна, изогнётся горбом и разольётся по отмели тонкой плёнкой воды, прилизывая влажный песок и всё дальше и дальше относя к берегу обломки камышей, какие-то щепки, куски пробкового дерева, обрывки гнилых верёвок. Налетит волна на камни, выступающие из воды, взовьётся каскадом белых брызг и пены и опадёт, разбитая, поверженная.

И слышится шум, странно-протяжный, неровный и какой-то тревожный. Каждая волна несёт свой всплеск, шорох, шёпот – неразгаданные голоса моря... Голоса эти сливаются и то усиливаются, то ослабевают, и несут на берег ровный, несмолкаемый шум, заглушающий смех, говор, крик человека.

Синева неба ясная, а ближе к земле несутся громадные тёмно-серые облака с белесоватыми закраинами. Несутся облака и точно торопятся к далёкому северу, к белой ночи,

с её бледным светом и мягкими тенями... Но белые ночи давно миновали, и короткий день осени – тусклый, почти серый и прохладный.

Солнце – низкое, холодное, неприветливое солнце севера – где-то далеко, за серыми тучами у горизонта. Серенький день пугает дождём, но дождя нет с утра. И только ветер приносить с моря мелкие капли шумливых волн.

Серые чайки, с белыми грудями и острыми крыльями носятся над морем с жалобным криком. Стоны и шорохи волн заглушают птичий робкий крик. Борются чайки с ветром, ныряют в воздухе, вскрикивают, и какой-то тревожной болью отзывается их крик в моей душе.

Берег пустынный. Месяц назад на отмели длинной лентой стояли кабинки и простые купальни, сбитые из досок. Далеко в море уходили мостки с купальными будками. Кое-где у ближайших к морю дач-особняков краснели и зеленели скамьи возле узкой песчаной дорожки, протянувшейся вдоль изгородей.

Морской пляж давно уже опустел. Дачники разъехались, не стало ни мостков, ни купален, ни кабинок...

В летние жаркие дни в море купались весёлые, смеющиеся дети дачников, и в их смехе порой я улавливал какую-то чужую мне радость... И это была детская радость, не понять её утомлённому взрослому человеку.

В серые ненастные дни осени носятся над морем серые чайки, жалобно вскрикивают, как будто им холодно

или больно, и слышится в их крике печаль... Вслушиваешься в надрывный крик чаек, и кажется этот крик бездомных птиц понятным мне, одинокому, утомлённому, бездомному...

Замер берег и стал безлюдным и скучным. Прислушиваюсь к печальному крику чаек, и иду одиноко по отмели, и всматриваюсь вдаль моря, и точно ищу что-то или поджигаю кого-то...

Белый парус несётся над серым морем белым крылом. Куда несётся этот парус?.. Кто там летит на одном белом крыле?

Ни говора человеческого, ни слёз, ни смеха... Один я...

Скучен безлюдный берег. Уныла северная страна, а я благословляю её как мою вторую родину, и люблю как мать... И ничто не кажется мне здесь чужим. Всё как будто родное, как будто моё...

Носятся над пустынным берегом серые чайки и плачут о чём-то. Улетает вдаль моря белый парус – одинокое крыло усталого человека... Так кажется мне, потому что я одинок...

* * *

Сегодня я не один на морском берегу. Со мною Пекка Паю, старик-финн, лет 60. Ещё недавно, весною, мы были с ним как враги. Теперь нас сближает самая горячая дружба.

Встретил он меня на морской отмели одиноко стоявшим у волн и сказал:

– Рас-с-свуй!.. Тоишь?..

– Стою, Пекка, и слушаю, как поёт море, – отвечаю я.

Как будто не для него сказал я эти слова, а так – для себя высказал свои тайные мысли.

Улыбнулся старик кривой улыбкой, точно невзначай посмотрел мне в глаза, но с любопытством посмотрел: «Мол, что он говорить?» – и добавил:

– Растудишься... Холодно... Пойдём со мной – рыба ридет, сын ридет...

Иду с ним рядом вдоль отмели. Хрустит под ногами гравий. Ветер отдувает полы пальто, срывает с головы шляпу. Дрожь пробегает по телу. Холодно, ветрено. А серые чайки всё носятся над волнами и печально кричат.

Холодно мне, а всё же хочется идти вдоль берега вместе с Пекка. Говорим мы вообще очень мало, больше молчим, курим трубки и смотрим вдаль моря, где всё ещё белеют паруса рыбачьих лодок. Всё уже, что надо было, мы давно переговорили с Пекка, и если теперь Пекка начинает разговор, то говорить только обо мне.

Он с большой заботливостью относится ко мне точно к близкому родственнику. Живу я в его громадной семиоконной избе, и для меня отведена большая комната в два окна. Комната – «лучшая», и в окна я всегда вижу широкое море.

Узнал Пекка – кто я и почему живу на чужом берегу, и стал относиться ко мне с особой лаской. Мы – люди разных национальностей, он плохо говорит по-русски, я почти ничего не понимаю по-фински, а духовная связь обнаружилась между нами, и мы любим друг друга.

Милый старик Пекка! Навсегда у меня останутся тёплые о нём воспоминания.

Устало и неровно шагая по гравию, он идёт рядом со мною и кутается от холода в воротник своего короткого пиджака.

Он всегда угрюм, никогда не улыбается, скуп на слова, а если скажет мне что-нибудь, то непременно ласковое. И желтоватое, морщинистое лицо его всегда угрюмо-покойно и похоже на лицо строгого пастора: бороду и усы он брет, а подбородок его застыл в какой-то особенной строгой складке.

Впервые мы встретились с ним как враги на этой же отмели. Это было в белую ночь.

* * *

Белая ночь... Ровный белесоватый свет над безмолвной спокойной равниной вод. Над морем безоблачное небо, бледное, немое, с лёгкими бледно-розовыми облачками на северо-западе. И ни одной звёздочки... Как будто не ночь, и на серенький день не похоже: ровный свет без оттенков,

мягкие тени без резких границ.

Направо у воды высокие прибрежные скалы с растущими на них соснами. А дальше лес по склону холма, и виднеются из-за его зубцов кровли дачных построек. Берег пустынный, и дач здесь немного. Дачный посёлок с нарядными дачницами, граммофонами, с купальнями и кабинками – за лесом, километрах в двух.

Я любил бродить в этом пустынном уголке. Редко-редко встретишь здесь рыболовов из соседней деревушки, и деревушка маленькая – всего домов шесть-семь.

С самой весны мечтал о переселении из шумного пансиона в это уединённое рыбацье селение. В пансионе живут люди чуждые мне, и среди них я всё равно одинок.

И моё одиночество совсем особенное, так сказать, вынужденное. Приходится прятаться от людей и с подозрительностью относиться к новым знакомым. И среди рыбаков я буду одинок, но знаю я – никто меня не спросит, зачем я живу здесь? Рыбаки будут плохо понимать мою речь, но от этого моя жизнь не станет хуже. Кое-как при помощи жестов и намёков мы всё же будем понимать друг друга, живя же среди петербуржцев и говоря с ними на одном языке, мы часто не понимаем друг друга. Кроме того, я люблю этот язык жестов и намёков. В словах больше зла, притворства и лжи, попробуй-ка солгать жестом или намёком? – нелегко!

Иду по песчаной отмели, вблизи деревушки, иду под холмом со скатами скал к самой воде, иду и мечтаю о том, ко-

гда переселюсь к рыбакам? Полчаса назад проходил селением, мимо серых домиков, всматривался в окна и соображал, в какой избе удастся мне поселиться?

Окна домов как глаза чуждых мне людей смотрят бесстрастно. Чужие мне люди, что я могу найти под вашим кровом?..

Шёл по отмели, думал о чужих мне людях и не заметил, как забрёл на сети, разостланные по песку. Как рыба попался в рыбачью сеть.

Слышу странный оклик со стороны всегда безмолвных скал. Слов речи не могу понять, но по тону догадываюсь, что кто-то бранит меня. И в ту же секунду я соображаю, за что меня бранят: попал в сети как никому ненужная рыба, как бревно или доска, которая легко может продрать тонкое плетение.

Странная серая фигура отделилась от скал. Приближается ко мне странная фигура, странно машет руками, кричит что-то... Вот улавливаю я и слова:

– Сети ломал... Перкола!..¹

И дальше слышу я ряд русских, бессмысленных трескучих слов матерной брани. Лёгкий ветерок утра не в силах отнести от меня тяжёлой русской брани. Как давно я не слышал этой брани, и мне было так приятно забыть о ней. И почему эта брань здесь, в глухом уголку Финляндии? Проклятый сородич, во все уголки мира занесло твою бессмысленную

¹ фин. Perkele – Чёрт. Прим. ред.

брань!

А серая фигура, отделившаяся от скал, всё ближе и ближе подходит ко мне. Всмотриваюсь в незнакомца. Типичный финн, узкоплечий, низкорослый, в больших жёлто-красных сапогах и в старой шляпчонке из жёлтой непромокаемой материи. Лицо незнакомца старческое, морщинистое, с плохо выбритым подбородком, и седая щетина обелила щёки до самых ушей.

Смотрят на меня выцветшие глаза и смотрят враждебно. Остановился серый человек в пяти шагах от меня и крикнул:
– Ходишь тута!.. Чего ходишь?.. Видишь – сети!.. Сети ломал!..

Снимаю шляпу, извиняюсь за свою оплошность, а на меня по-прежнему смотрят враждебные глаза серого человека, отделившегося от серых прибрежных скал. Он и сам представлялся мне серой, холодной скалой.

Я ещё раз снял шляпу и извинился.

– Ходят дашники!.. Перкола!.. Чужой берег пришёл, закон надо знать... Ходишь, сети рвёшь!..

– Да не рвал я ваших сетей! – возмущаюсь я.

Смотрит на меня серый человек и говорит что-то про себя; не пойму, о чём он говорит, но, несомненно, бранится, это видно по выражению его глаз и по тому, как изо рта брызжет слюна злобы.

Наконец, он повернул ко мне лицо, махнул рукою и выкрикнул:

– Тупай... Тупай!.. Чужой берег!.. Тупай!..

И я пошёл, направляясь вдоль отмели, а он шёл за мною и что-то бормотал про себя. Вот он прибавил шагу и скоро догнал меня, но, по-видимому, не имел намерения поравняться со мною. Он бранил дачников ближайшего посёлка. Бранил купальни и кабинки, купальщиц и купальщиков за то, что, будто, те мешают ему ловить рыбу. Бранил всех нас и повторял:

– Чужой берег пришла!.. Вой берег тупай!.. Перкола!..

Вот он приостановился, ещё раз пристально осмотрел меня, потом махнул рукою в мою сторону, как бы указывая – иди туда, куда идёшь, иди и не оставайся тут, на чужом берегу. И я поспешил в пансион, где жил, а он пошёл к деревне.

Эта странная ночная встреча повергла меня в отчаяние. Я только что мечтал о том, чтобы поселиться в рыбацкой деревне, а представитель этой деревни рассердился на меня и гнал меня с чужого берега.

Чужой берег! Как много холодности и отчуждения в этих словах. Чужой берег – чужие мне люди. Что же мне делать, если и там, в пансионе, я считаю всех чужими? Где же мне искать близкого человека?..

Иду в крошечную хатку, в лесу, приютившуюся на холме у самого моря. Летом здесь живёт мой приятель, молодой финн Генрих Паю. Хатка его небольшая, в два окна, с камельком вместо печи. Простой стол и стул – всё убранство. По стене тянутся скамейки, заваленные какими-то рыбацки-

ми снарядами, сетями, верёвками. И около хаты на жердях постоянно сушатся сети – большие и малые, редкие и частые. Против хаты у отмели лодки Генриха, а дальше, в море, на якоре, маячит его же большая парусная лодка.

Мы часто видимся с Генрихом и подолгу беседуем. Он неважно говорит по-русски, но всё же мы понимаем друг друга. Он даже читает по-русски, охотно берёт у меня книги, и потом мы снова беседуем с ним по поводу прочитанного. Года два-три назад Генрих служил приказчиком в одной русской лавке в Выборге, примкнул к рабочей партии и считает себя партийным человеком. Это делает его весьма серьёзным и принципиальным человеком.

Когда он узнал, почему я поселился в Финляндии, на «чужом берегу», отношения его ко мне разом установились дружески-товарищеские. Приехал я к нему с письмом от «верного» человека, и этого уже оказалось достаточным, чтобы спокойно жить среди чужих мне, но в сущности, близких людей.

Есть такая твёрдая связь между людьми, говорящими даже на разных языках, жившими до сих пор разными жизнями, и никакие силы не в состоянии разрушить этой связи.

Помню, с какой трогательностью заботился Генрих о моей судьбе, часто преувеличивая даже опасности больше меня, немного напуганного преследованиями. А как он заботливо отыскивал мне подходящую квартиру, а как он «укрывал» меня от местных полисменов... Рассказать об этом –

значит написать трогательную повесть о том, как люди могут любить друг друга, а это такая редкостная повесть...

Когда я рассказал Генриху о своей встрече со стариком финном, он зычно расхохотался, как хохочет всегда, когда его что-либо поражает неожиданное, но нестрашное.

– Ха-ха-ха!.. – рассмеялся он. – Отец мой!.. Он ругал вас... – говорил он. – А я думал, кто это из дачников разорвал сети?..

– Да я не рвал сетей, – возразил я.

– Ну, да... Ну, да... Не рвал, это верно... И только отец так не любит дачников... Ему всё кажется, что они возят русскую водку и продают, а он не любит водки, не любит, когда пьют...

– Так это отец ваш?

– Ну, да, отец... Пекка Паю!..

– Так вы скажите ему, что я водкой не торгую и сам даже мало пью.

– Я сказал ему... Всё сказал о вас... Он, ведь, тоже к партии принадлежит...

На другой день я немало был удивлён визитом самого старика Пекка Паю.

Он отыскал меня в пансионе, и когда я вышел к нему, с улыбкой протянул мне свою большую мозолистую руку и так хорошо, крепко, по-товарищески пожал мои пальцы.

– Звините... звините... – бормотал он и ласково так смотрел мне в глаза.

Я провёл его к себе в комнату, усадил к столу, а он всё бормотал своё: «Звините, звините!»

И лицо его при этом было такое хорошее. На нём не было заискивающего приторного выражения, чем отличаются лица большинства людей в минуту извинений. Я так и понял старика: когда он негодовал – был неукротим, а, может быть, даже и несправедлив, а когда пришёл извиняться, его прямая натура показала себя: открыто, мол, признаю свою ошибку, открыто в ней и извиняюсь.

Разговор наш не вязался. Я угостил старика хорошим английским табаком, и он с удовольствием набивал свою большую трубку тёмно-коричневым и твёрдым табаком. А я рассматривал его красное от загара лицо, с подбритыми у рта усами и с седой бородой, растущей откуда-то из-под подбородка. Морщинистое было его лицо, щёки впалые, нос вытянут вперёд, а глаза, небольшие, голубые, по-прежнему светились добродушием и лаской... Странно это: вчера человек бранил меня всеми бранными словами, какие только имелись в его лексиконе, а сегодня он у меня в гостях, и вот курим мы с ним по трубке, и эти трубки оказались теми трубками мира, о которых люди так часто любят говорить в шутку.

На прощанье он взял с меня слово, что в ближайшее же воскресенье я непременно приду к нему в гости. Говорил он и о рыбной ловле, и о своих лодках с парусами, и о своих снастях, которые теперь стоят там где-то вдали от моря и обещают ему хороший улов. Пообещал он мне и угостить

меня какой-то совсем особенной и вкусной рыбой. Быть может, самую обыкновенную рыбу – леща или окуня – назвал он по-своему, а я принял эту рыбу за какую-то особенную... С таким радостным настроением провожал я своего гостя, что немудрено, если бы и самые обыкновенные вещи вдруг стали мне казаться необыкновенными.

Когда скитаешься в чужих краях, ласка первого встречного ослепляет, и долго так ходишь каким-то опьянённым...

Прошло не больше недели, и вот я живу у Пекка Паю, в его чистенькой горенке в два окна с великолепным видом на море.

Семья Пекка невелика: он, его жена – старуха Матильда, его дочь, семнадцатилетняя девушка Анти и сын Генрих, который живёт отдельно от отца в лесной избёнке на берегу моря. По зимам старуха Матильда плетёт сети и славится в околотке искусной работницей. Иногда помогает ей и дочь, и даже сам старик Паю. Слаба здоровьем старуха Матильда, а хозяйство у неё в доме крепкое, налаженное на зависть любым молодожёнам. Матери в хозяйстве помогает и Анти, и это не мешает девушке «франтить по праздникам», когда она разоденется в красочный национальный костюм и идёт в народный дом на танцы. Я часто не узнаю Анти: в будни она такая замарашка – в старой юбке и кофточке ходит по дому и делает что-нибудь, или идёт в коровник доить коров, а коров у Пекка целых пять, и всё большие такие коровы и многомолочные, скоро ли их удоишь.

Есть что-то странное в характере Пекка Паю. Добродушным назвать его нельзя, но он как-то особенно чувствительно-справедлив. Какая-нибудь жизненная мелочь, на которой не следовало бы останавливать внимание, а эта мелочь всегда приковывает внимание старика, и он начнёт говорить целую речь о людской несправедливости. Частенько он покрикивает и на жену, и на дочь, и на Генриха, и нередко эти окрики бывают весьма энергичны, но все семейные покорно выслушивают окрики главы семьи, и опять-таки потому только, что признают, что окрики отца справедливы. Пусть будет жизненная мелочь, из-за чего загорелся спор или неудовольствие, но к этой мелочи старик отнёсся со своей меркой справедливости.

Пекка Паю носит на себе почётное звание судьи, и я нередко вижу в его доме или где-нибудь на берегу группу лиц, а то одинокого какого-нибудь жалобщика, которые пришли или приехали к старику судиться. Иногда Пекка увозят куда-то на целый день, и к вечеру он возвращается усталый, но всегда довольный своей поездкой. Это опять его требовали на суд. Сколько на своей жизни Пекка разобрал разных семейных дел, и все жалобщики довольны им, а те, кого он осудил, не помнят злобы и не таят зла на хорошего старика. Немало семейных раздоров прекращено стариком, одних он поженил, другим сделал наставление, и те остались жить совместной брачной жизнью, а ещё так недавно между мужем и женою были распри.

Пекка умеет быть и отечески ласковым. Я видел, как однажды он утешил одну вдову, которую обобрал «непутёвый» любовник. Вдова ушла утешенной, а старик потом долго ворчал и выкрикивал:

– Дура, дура, дура! – повторял он. – Говорил ей: «Брось, брось!» Дура! Связалась с подлецом... Перкола!..

По праздникам Пекка угощает домашних компотом из черники. Только он один знает секрет приготовления этого вкусного блюда.

Свой рыбацкий промысел Пекка Паю любит и считается отважным рыбаком по всему побережью. У него имеется три прекрасно оборудованных парусных лодки, масса сетей и перемётов и других снарядов, названия которых я и не запомнил. В горячую рыболовную пору Пекка нанимает в помощь себе работников, а в большинстве случаев обходится семейными силами: помогают ему сын и дочь.

Лет пять назад у Пекка была большая парусная лайва², на которой он отправлял рыбу в Кронштадт и даже в Петербург. Но вот большое судно пришло в негодность, и от этих дальних путешествий пришлось отказаться старому Паю.

С печалью в глазах вспоминает Пекка об этом времени. И всегда при этом прибавляет:

– Давид... мой сын. Давид был жив тогда...

Странный старик! Своего старшего сына он упорно считает умершим. Раза два-три в год получает от него письма

² фин. Laiva – Корабль. Прим. ред.

и всё же считает сына своего умершим.

Покинул Давид семью, и не стало у Пекка хорошего работника в доме. Покинул Давид родину, и обеднела родина одним хорошим гражданином. А в былое время Давид был главным помощником Паю в его рыболовной работе. И среди рабочих слыл Давид за славного и сознательного сочлена.

В былое время старик всегда с гордостью рассказывал всем о том, какой у него сильный и ловкий сын, его главный помощник. Немногие могли угоняться за Давидом в ловкости забрасывать или вынимать из моря сети. Хорошо слушались Давида и паруса их двухмачтовой лайвы.

И вот не стало у Пекка сильного сына, не стало у Пекка и прекрасной двухмачтовой лайвы. Давид живёт в Швеции и служит простым работником у какого-то рыбопромышленника. Пишет, что хорошо зарабатывает и вольно живёт, но эта похвальба сына не успокаивает старика Паю. Не может он согласиться, чтобы на чужбине жизнь была лучше, если Давиду приходится батраком служить у промышленника, а дома он был бы сам хозяин.

– Почему же он уехал в Швецию? – как-то раз я спросил Паю.

– Перкола!.. – только выкрикнул старик и махнул рукой. Генрих рассказал мне о печальной судьбе Давида. Это случилось, когда в Финляндии царил генерал Бобриков. Среди финской молодёжи того времени немало нашлось таких как Давид, пассивных протестантов, которые, не умея

и не желая мириться с «бобринскими» порядками, эмигрировали и в Швецию, и в Норвегию. Немало молодёжи уплыло и в далёкую Америку. Кое-кто из беглецов вернулся на родину спустя год-два, а многие так и остались в Америке и на том берегу Балтийского моря. Точно свирепый ураган пронёсся над страной озёр и увлёк за собою за зелёные волны моря молодых, сильных и славных сынов родины. Вырвал ураган с корнем молодые побеги и унёс, и недаром старик Паю считает своего сына умершим. Пусть он там жив и хорошо живёт, но для Паю беглец родины – умерший человек. Шестьдесят слишком лет прожил Паю и много на своём веку видел хорошего и дурного, а дурного, пожалуй, и больше, однако вытерпел и вынес всё и никуда от своего отца с матерью не сбежал.

О сыне-беглеце избегает говорить с посторонними старик Паю, а когда кто упомянет его имя – на лицо старика ляжет тень, отведёт он глаза в сторону, точно боясь смотреть, и вздохнёт с болью в сердце.

Недоволен поведением брата и Генрих. Как-то раз он сказал мне:

– И я уехал бы в Америку... Звали и меня... А вот остался, живу тут...

И он долго говорил о том, как нехорошо поступил Давид, сбежавши от тяжёлых порядков жизни их родины.

Генрих – член местной рабочей группы. Дорого он ценит каждого сознательного члена своей партии, верит в сплю-

чённость единомышленников и прекрасно знает, как важно, чтобы число этих единомышленников было больше. Давид был видным членом партии, и то обстоятельство, что он покинул своих, ещё больше внушало неудовольствие среди бывших его сотоварищей.

– Вон у нас скоро выборы в Сейм. Давид хорошо умеет читать и говорить хорошо может, а его нет, – продолжал выражать своё неудовольствие Генрих и добавлял, – надо ему вернуться, надо...

Как оказалось, Генрих не раз писал об этом брату, но тот оставался верным раз принятому решению и на родину не возвращался. Может быть, Давид и сам бы был не прочь вернуться домой, и Генрих высказывал и это предположение, но вот уже год, как Давид женился на шведке, и ему нелегко теперь порвать связь со своей новой родиной. У него уже и ребёночек скоро будет, и отец жены хочет сделать его хозяином рыбацкого судна, и домик строит ему на берегу моря. Поселится в этом доме Давид со своей женой и ребёнком, будет рыбу ловить и навсегда уже останется в Швеции.

– На жену променял Давид родину! – как-то с горечью в голосе сказал старик Паю, и даже слёзы заблестели у него на глазах.

А недели две назад прислал Давид письмо и сообщил, что у жены его родился мальчик. Но эта семейная радость сына как-то мало порадовала старика Паю. Мать Давида даже всплакнула на радостях, дождавшись внука, а Паю завор-

чал на свою старуху и даже обругал её: «Чего, – мол, – ты радуешься?.. Внук... Ну, внук родился, а дальше что?.. А где сын наш, Давид? Теперь он уж никогда не вернётся, потому новыми, чужими корнями прирос к своей новой, но чужой нам родине».

В этот вечер старик Паю был особенно неразговорчивым и всё ходил по комнате и напевал священные псалмы.

Тихо, точно боясь разбудить кого-то, ходит Паю из угла в угол и поёт псалмы. И пение его тихое и какое-то надорванное. Тянет одну ноту, то понижая, то повышая голос, а потом вдруг и оборвёт духовную фразу на полуслове, а помолчав, опять затянет то незаконченное слово и опять тихо тянет псалом своим тихим старческим голосом. И в глазах его какое-то тихое молитвенное выражение, и губы дрожат так, точно ему заплакать хочется о чём-то. Но терпеливо прячет он свои слёзы, потому как же это так плакать ему старому, суровому рыбаку?..

Слушаю я тихий и печальный напев псалмов за перегородкой и сижу, не шелохнувшись, в светлых сумерках вечера. Слушаю напев, слышу отдельные слова, но не понимаю этих слов, и только тоскливый голос певца разъясняет мне их смысл... Такое уже свойство тоски: на всех языках выражается она так, что понять её нетрудно, нетрудно проникнуться этой тоской. Мир и покой души нашёл старик Паю в священных псалмах, и голос его стал мягким, и когда он проходит мимо двери в мою комнату, и я вижу его лицо и глаза,

в которых уже потухла та недавняя злоба, с которой Паю говорил о сыне.

И только одну фразу сурового старика я не могу забыть. «На жену променял свою родину», – сказал он о сыне. А мне хочется думать, что старик ошибается. Давид по-прежнему любит свою родину и тоскует по ней. Сам же Паю передавал мне содержание его одного письма, в котором Давид не скрыл своей тоски по родине. За что же старик так обижает сына?.. Стала для Давида Финляндия мачехой, и он разлюбил её временно и уехал, как сделали это многие. Разлюбил родину и уехал за море, в чужую сторону, к чужим людям.

Разве легко быть на чужой стороне? Разве легко покидать родину и жить среди чужих людей, на чужом берегу?

И я сам на чужом берегу, и мне так понятна тоскующая душа Давида. Разве легко покинуть родину и чувствовать в каждый день, в каждую минуту, что она как мать не забывает тебя и незримо зовёт и зовёт. И в дивных ветрах с родины слышится один и тот же напев как понятное слово из любимого псалма родины: «Вернись!.. Вернись!..»

Иногда, но очень редко, отец и сын Паю берут меня с собою в море на рыбную ловлю.

Разместившись по своим местам в парусной лодке, оба они разом словно преображаются. Говорят мало и, точно священнодействуя, забывают обо всём, что осталось там на берегу. Перебрасываются друг с другом короткими де-

ловыми фразами, посматривают в даль моря, а меня точно не замечают. Иногда промеряют глубину дна длинной верёвкой с грузом на конце и опять о чём-то совещаются. Говорят по-своему, и их нимало не заботит, что я не понимаю их речи. И я понимаю, что говорят они только о том, ради чего пустились в открытое море на своей быстроходной и лёгкой лодке. Отчуждённость моя от моих спутников не обижает меня, я как безмолвный парус или мачта сливаюсь с их интересами и, притихнув, сижу и только смотрю, что они делают.

Генрих управляет парусами, а Пекка сидит на руле и зорко куда-то смотрит. Его старческие подслеповатые глаза замечают какие-то незримые для меня точки и приметы на далёком острове, что утонул в море, или на чуть заметно синеющей грани противоположного берега залива. Видит Пекка непонятные мне знаки моря и плывёт по ним как по вехам. А меня они по-прежнему не замечают. В глазах их суровость, на устах скупость к словам, – к посторонним словам, не относящимся к рыбной ловле, и я боюсь спросить их о чём-нибудь, и я боюсь повернуться на узкой скамье, чтобы не зашуметь, и я боюсь кашлянуть... И только, когда Генрих закурит папиросу, или старик Паю вытащит из кармана свою трубочку с мягким качающимся чубуком, и я решаюсь закурить свою трубку. Предлагаю старику Паю свой табак, а он помахивает отрицательно головою и набивает трубку махоркой. Не признаёт старик в открытом море нежностей и любезного обращения, не признаёт и баловства вкусным английским

табаком.

Здесь, в открытом море на рыбацкой лодке, всё деловито, сурово, скупое на слова, или на добродушный взгляд, или на ласковую улыбку.

Какими-то древними людьми представляются мне отец и сын, и я стараюсь походить на них и жить их жизнью, совсем особенной, совсем не похожей на ту, которой жил раньше. Не боятся они моря, и мне, человеку суши, становится нестрашно море.

Помнится, однажды нас в море застала гроза. Тёмные лохматые тучи принесли откуда-то издалека, принесли стремительно, точно напугав безмятежную синеву неба и мелкую рябь моря: и море, и небо заволновались какими-то своими страхами. Потемнело небо, потемнело море. Подул ветер и разом развёл крупное волнение. Выпустил Генрих парус, застегнул свою куртку на все пуговицы, и воротник куртки поднял, и картуз с большим козырьком надвинул на лоб.

А старик Паю, как сидел раньше на руле, так и теперь не переменял позы. А пиджак его остался расстёгнутым, и ворот рубахи расстёгнут. Крупные капли дождя с ветром били нас, в спины, в головы, в руки. Над головами вспыхивали молнии, и гром ревел непрерывно. А лодка наша, гонимая ветром, неслась по тёмным волнам с белыми гребнями и то опускалась книзу вместе с опавшей волной, то взгромождалась на гребень волны. И отставали сзади лодки зелёные ворчливые волны. А я смотрел на Паю и дивился его

мужеству, весь промокший, посиневший от холодного ветра, он по-прежнему сидел с рукояткой руля в руке и твёрдым взглядом всматривался вперёд, к берегу, куда неслась наша лодка вместе с попутным ветром. Вот он прижал рукоятку руля к боку и как-то изловчился и достал из кармана трубку. Но он не мог закурить трубки: ветер тушил и спички, и трут. И он остался сидеть в лодке с не дымившейся трубкой в зубах.

А когда налетевшая туча пронеслась и сгустилась в синий полог над берегом, и протянуло из-за её закраин солнце, Паю раскурил трубку, стряхнул с волос капли дождя, улыбнулся и, глядя на меня, спросил:

– То... Мочил?.. Ха-ха-ха!..

И он рассмеялся вслед унёсшейся тучи.

Как-то раз мы вдвоём с Пекка отправились в море. Он хотел только посмотреть, не размотала ли буря минувшей ночи снастей, и поплыл налегке. Генрих с сестрой Анти остались на берегу и чинили сети. За последнее время я научился управлять парусами, и старик охотно поручал мне ту самую работу, какую обычно исполняет Генрих.

Был ясный тихий вечер, – томительный вечер в ожидании белой ночи, когда мы с ним отчалили от берега. Море было тихое, хотя крупная рябь ещё проносилась по его челу как судороги вчерашней бури. Ярким голубоватым пологом отражалась в воде синева неба. Упало солнце вглубь моря и большим золотым шаром отразилось на гребнях ря-

би. И побежала по воде широкая золотая дорога. Искрилась, то уширяясь, то суживаясь, золотая дорога и исчезла у нас под лодкой.

Я сидел на руле и рабски, послушно исполнял команду Паю.

И опять по каким-то приметам нашёл Паю те кольца, за которые были прикреплены его снасти, осмотрел верёвки и успокоился, и улыбнулся на радостях, но какой-то робкой улыбкой, как будто боясь особенно радоваться, чтобы не разгневать моря.

Сделал он своё дело и властным окриком приказал мне повернуть руль направо. И мы повернулись на гребне плоской зеленовато-голубой волны. Расправились, надулись белые паруса, и полетели мы к берегу, гонимые предвечерним влажным и холодноватым ветром.

Старик стряхнул с себя деловую серьёзность, набил свою трубку моим табаком, и сидел на скамье, и держал в руке канат, довольный и спокойный. Разговорился он, однако, не сразу. И говорил отрывочными фразами о последних удачах своего ремесла. За эти дни они с Генрихом, действительно, поймали много и сигов, и форелей, и больших широких лещей. Говорил и о том, на какую сумму он продал рыбы дачникам, и, как мне казалось, примирён был и с дачниками, которых ненавидел.

А потом он вспомнил о том времени, когда у него была двухмачтовая лайва, и опять разбередил душу. Вспомнил

о своей лайве, на память навернулся и сын Давид. И снова поднялась из глубины души его горечь, но сегодня он почему-то скоро успокоился и смягчился, и не бранил сына, и не ворчал на него.

И снова заговорил о последнем письме сына, в котором тот извещал отца о новорождённом мальчике.

Рассказал старик о письме, вспомнул и о мальчике, о внуке своём, которого никогда не видел да и увидит ли... Подумал старик о неведомом внуке и посмотрел вдаль моря, в ту сторону, где родился этот внук.

В дымке белой ночи утонула чужая страна, родина внука старика Паю. Посмотрел старик, подумал о чём-то и затянулся трубкой. Потом поглядел вправо, в ту сторону, где в дымке той же белой ночи утонула и моя родина. Чуть видны далёкие синие берега. И мне кажется тот дальний родной берег поднявшимся над водой как мираж в раскалённой пустыне. И кажется мне, что я вижу родной большой город, и зубцы крыш высоких домов обрисовываются на синеве, и колокольни церковей вижу я и башни... И переносятся мои представления в другую, неведомую мне страну, туда за море, где живёт Давид, изменник родины. И кажется мне, что я угадываю его чувства и думы. Может быть, в эту минуту и Давид стоит на чужом берегу и смотрит вдаль, в сторону милой родины и слышит напев ветра: «Верни-и-ись!.. Верни-и-ись!..»

Смотрит в сторону второй родины Давида старик Паю и молчит, а потом вдруг стал говорить о сыне и о внуке, и я

по его словам сужу о том, как он любит их обоих. Вот снова смолк Паю, а потом запел тот же печальный псалом. И опять я понимаю, улавливаю в его пенье его глубокую тоску по сыну, по внуку, которого он не видел. Издалека, из дымки моря под покровом белой ночи посылает старик сыну своему и внуку благословение, и в глазах его любовь и печаль. Может быть, в ту же минуту и Давид стоит на берегу моря и смотрит в сторону отца и милой родины. И слышит в голосе ветра призыв: «Верни-и-ись!.. Верни-и-сь!..»

Смотрю я вдаль, на грани синеющих родных берегов, силюсь рассмотреть что-нибудь в синеватой мгле...

Ушло солнце громадным шаром за грани горизонта, и исчезла, потухла золотая дорога на морской глади. Затерялась золотая дорога на мою милую родину... И слышу я – нежно, тихо тянет нежный ветерок белой ночи одну и ту же ноту: «Верни-и-сь!.. Верни-и-сь!..»